# Ненависть к элитам

Игорь Смирнов

Ожесточение против истеблишмента приняло в последнее десятилетие повальный характер, обусловив общее развитие социальности в современном мире, а не только положение дел в отдельных странах. Это недовольство привело Дональда Трампа к успеху в состязании с бывшей первой леди Хиллари Клинтон на президентских выборах в США (2016); обеспечило приход к власти в Аргентине Хавьера Милея (2023), приверженца анархо-капитализма, выступившего с программой по деинституционализации национальной экономики; усилило влиятельность антисистемных политических движений, возглавляемых Найджелом Фаражем в Великобритании и Марин Ле Пен / Жорданом Барделла во Франции, и позволило «Альтернативе для Германии» стать одним из главных игроков на немецкой политической сцене. Рейтинг глав правительств во Франции и Германии низок, как никогда: согласно данным, полученным в конце 2025 года[1], только 25% опрошенных удовлетворены деятельностью канцлера Фридриха Мерца и 16% — президента Эммануэля Макрона, тогда как позитивного мнения о Барделла придерживаются 42% респондентов. Еще выше был уровень доверия, оказанного Трампу, расшатывающему традиционный политический строй



*Игорь Павлович Смирнов (р. 1941) — автор многочисленных статей и книг гуманитарного профиля; основной научный интерес сосредоточен на теории истории. Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.*

**1** См., например: https://d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net/documents/Topline_Eurotrack_Dec25_w.pdf.

&

## НОВЫЕ/СТАРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИКИ В (ПОСТ)МОДЕРНОМ МИРЕ

американской демократии. Вместе с политическими элитами перетряска социальной иерархии задевает и любые иные: второй президентский срок Трампа ознаменовался исходящими из Белого дома гонениями на университетские и журналистские круги, а также на экспертов, например занятых исследованием климата.

**Единоличная власть отвечает на возлагаемые на нее социальными низами надежды тем, что не дает своему административному аппарату возможности устояться, постоянно реорганизует ближайшее окружение. Происходящее же в наши дни нацелено на то, чтобы вовсе отнять у элит их легитимность, подставив на их место народного избранника.**

Неприятие массовым сознанием истеблишмента влечет за собой установление режимов, от которых ожидается, что они выразят народную волю напрямую — без посредничества «политической касты» и олигархической верхушки общества (будь то правление Владимира Путина в России, Виктора Орбана в Венгрии, Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, Нарендры Моди в Индии, Жаира Болсонару в Бразилии и других). Политология обычно указывает на то, что формирование в наши дни автократий сопровождается сменой старых элит новыми[2]. Однако нынешняя ситуация не совпадает с той, которую смоделировал в труде «Трактат по общей социологии» (1916) Вильфредо Парето, считавший, что общество в периоды сломов сохраняет необходимое для своего бесперебойного функционирования равновесие путем замещения властвующей элиты резервной. Единоличная власть отвечает на возлагаемые на нее социальными низами надежды тем, что не дает своему административному аппарату возможности устояться, постоянно реорганизует ближайшее окружение (как это делал Трамп в 2016–2020 годах). Происходящее же в наши дни нацелено на то, чтобы вовсе отнять у элит их легитимность[3], подставив на их место народного избранника. Этот ставленник демоса не столько опирается на бюрократию (закоренелую или свежеиспеченную), сколько

**2** См., например: Rhodos-Purdy M., Navarre R., Utych S. *The Age of Discontent. Populism, Extremism, and Conspiracy Theories in Contemporary Democracies*. New York: Cambridge University Press, 2023. P. 206 ff.

**3** Биргер Приддат причисляет к ряду нынешних антиэлитарных тенденций и внедрение в управление производством и государством искусственного интеллекта, отнимающего верховенство у человека (Priddat B.P. *Silizium und Tyrannis* // Lettre international. 2026. № 2(152). S. 8).

склонен к непотизму (дочь Трампа, Иванка, занимала пост советника президента, а ее муж, Джаред Кушнер, выполняет дипломатические поручения; младшая сестра Хавьера Милея, Карина, — секретарь президентской канцелярии). Суверен не отчуждает, таким образом, верховенство от себя, передоверяя его назначаемым им комиссарам, а соучаствует в политической деятельности своих сотрудников, будучи репрезентированным в ней лицами, с которым сближен особенно тесно. Такое семейно-компанейское правление окарикатуривает монархию — наследственную власть семьи над социумом. Трамп не мог смириться с поражением, нанесенным ему на выборах в 2020 году Джо Байденом, потому что занимал позицию, аналогичную той, в какой находится самодержец, от которого его статус в норме неотъемлем. Элитам из прошлого приходится во враждебной им обстановке выбирать между потерей влияния и приспособлением к изменению социополитического контекста, заставляющим их идти в услужение, как это случилось с большинством крупных бизнесменов в России или с техномагнатами Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом в США (впрочем, союз мультимиллиардера Маска, принявшегося выкорчевывать бюрократию, и Трампа, благословившего его на расправу над ней, оказался недолговечным).

Попытки устройства социального мира без элит повторяются в истории, когда та достигает своей критической точки в революциях, поначалу питаемых религиозным рвением. Правивший во Флоренции (1494–1498) монах-доминиканец Джироламо Савонарола боролся с потомственными привилегиями аристократов, денежным могуществом ростовщиков и тягой сограждан к роскоши, предметы которой всенародно предавались огню. Томас Мюнцер учредил в Мюльхаузене (1524) коммуну «святых», которая в своем чаянии стать царством Божием на земле еще до Второго пришествия противостояла как светской элитарности (власти князей), так и религиозной исключительности (монастырям, пользовавшимся правом на земельные владения). Если религиозный ропот против элит и не выливался в революционный эксперимент, как у Мюнцера, в коммуне которого имущество было обобществлено, то все же вступал в разногласие с наличным социальным порядком. Псковская ересь «стригольников» (XIV век) была вызвана протестом прихожан против симонии (возведения в священнический сан за мзду) и оппонировала клиру тем, что насаждала монашеский аскетизм в миру́. Возмущенные обмирщением церковной практики «стригольники» противились ей, сакрализуя свое повседневное поведение, социальный обиход.

По мере освобождения революционности от религиозных установок борьба с элитами ведется не только с ниспровергаемым правящим слоем, но и со вновь возникающим в результате переворота. Теряя из виду разграничение божественного и человеческого, революции Новейшего времени оборачиваются тотальным профанированием, безальтернативно направляемым ими и вовне и на самих себя. Ничего святого для них нет. Одно из обвинений, которое было предъявлено Жоржу Жаку Дантону, послужив доводом для его казни (1794), вменяло народному трибуну расточительный образ жизни. Через короткое время на гильотину были отправлены и сами обвинители Дантона. Дело здесь не в том, что террору в годы Великой французской революции было предназначено держать место власти пустым, как полагает Славой Жижек[4], а в том, что революция, став сугубо социально-политической, замкнувшейся в мире сем, оказалась вынужденной, дабы длиться, воспроизводить саму себя, то есть переходить от отрицания старого строя к самоотрицанию. Под таким углом зрения понятно, почему между радикально обновляющими общество и консервативными революциями, так или иначе берущими инновативность назад, нет существенного расхождения в их отношении к порождаемым ими элитам. Сталин не щадил собственных приспешников (особенно из числа сотрудников секретной службы) точно так же, как и большевистскую гвардию, истребление которой гарантировало ему возможность единолично распоряжаться дальнейшим ходом русской революции, все более и более трансформировавшейся в сооружение мировой империи.

**Революция, став сугубо социально-политической, замкнувшейся в мире сем, оказалась вынужденной, дабы длиться, воспроизводить саму себя, то есть переходить от отрицания старого строя к самоотрицанию.**

Религиозные революции не просто сходят на нет в Новейшее время, но сохраняют свои следы в светских, будь то введение Робеспьером культа Верховного существа или заигрывание Сталина с православной церковью. Современные *disruptions* унаследовали из прежнего революционного опыта и недоверие к новоявленным элитам (Трамп перетасовывал в первый президентский срок свой кабинет, Кремль старается устра-

4 Žižek S. *Grimassen des Realen. Jacques Lacan oder die Monstrosität des Aktes*. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1993. S. 130–137.

нить коррумпированных чиновников из высших эшелонов власти), и обращение завоевателей государственной власти за поддержкой к религии (Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ищут себе подспорье у евангельских христиан, Путин полагается на Русскую православную церковь, Эрдоган — на ислам, Моди — на индуизм; Ярослав Качиньский, еще совсем недавно диктовавший Польше ее политику, — на католицизм). Чем чаще общество сотрясается революциями, тем более они накапливают собственную традицию. Спрашивается, в чем состоит своеобразие сегодняшнего восстания против элит?

***

Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует принять во внимание то обстоятельство, что революция 1968 года в США и Западной Европе, послужившая входом в наш исторический период, была элитарной. Она совершалась в тех условиях, когда Герберт Маркузе объявил в «Одномерном человеке» (1964) Марксов пролетариат «мифом». В обществе, все более и более соблазняемом консюмеризмом, роль поднимающихся на бунт масс приняли на себя студенчество и молодежь, занятая интеллектуальным трудом. Можно даже сказать, что это молодежное протестное движение направляло свой мятеж против масс, бывших до того главной опорой тоталитарных режимов. Оно было миноритарным. Тогда как число леворадикальных демонстрантов в Федеративной Республике Германии не превышало обычно трех тысяч, на похороны застреленного в 1974 году «городскими партизанами» председателя Берлинского окружного суда Гюнтера фон Дренкмана явились двадцать тысяч человек.

С какими элитами сражаются теперь антилиберальные партии? С теми, которые постепенно выдвинулись из социальной периферии (в том числе из подполья и эскапистских групп) в центр общества и с продолжателями их начинаний. Президент США Билл Клинтон (1993–2001) был в юности деятельным противником войны во Вьетнаме, как и сенатор от штата Вермонт и лидер левого течения в демократической партии Берни Сандерс; депутат Европарламента (1994–2014), едва не ставший министром при Макроне, Даниэль Кон-Бендит возглавлял вместе с другими левыми активистами майские волнения в Париже в 1968 году; тогда же будущий вице-канцлер Германии Йошка (Йозеф) Фишер (1998–2005) участвовал в разыгравшейся во Франкфурте на Майне схватке демонстрантов с полицией. Приведенные примеры было бы не трудно умножить.

Обрушая сегодня истеблишмент, консервативные революции кладут конец эпохе, застрельщики которой распространили

собственную эксклюзивность на организацию общества, ставшего терпимым к сосуществованию в нем множества разнородных, но одинаково не доминирующих над социореальностью коллективов. Чем бы ни были сбиты воедино эти группы (национально-расовой ли принадлежностью, сексуальной ли ориентацией, конфессиональными ли убеждениями, эстетическими ли вкусами, миграционным ли прошлым их членов или еще как-то), демократизация эксклюзивности делала общество не допускающим исторжения из своих границ инаковости. Эта социологика, универсализующая эксклюзивность, с диалектической необходимостью придавала исключениям прямо противоположную им интегративную целеустремленность[5]. Идеалом шестидесятников прошлого столетия было общество, сплошь сформированное из как бы элит.

Исторический цикл дошел до предела в отрицании своих исходных инициатив, которое не могло быть ничем другим, кроме их зеркального переворота. Вход и выход одной и той же диахронической системы не строго дизъюнктивны, а сопротивопоставлены друг другу. На место инклюзии через эксклюзивность пришло выталкивание из социального уклада всяческой исключительности, переносящее ее, однако, на само общество[6]. Элитарность, изживаемая внутри социума, оказывается, таким образом, тем свойством, которое квалифицирует его вкупе — как целостность, претендующую на привилегированное положение относительно прочих обществ. Отсюда проистекают и протекционизм, требующий льгот для национальной экономики в программе Трампа «Make America great again», и неприязнь к Евросоюзу со стороны европейских антилиберальных партий, надеющихся вернуться к безупречно суверенной государственности.

В генерализированном виде приоритет, отдаваемый каждому отдельному обществу перед всеми остальными, выражает себя в воцарении в сегодняшней действительности идентитарных веяний, заместивших идеологизированные стратегии социального поведения политикой, которая перестала апеллировать к рассудку ради того, чтобы напоминать нам о нашем происхождении. Исчерпав свою идейную мощь, эпоха завершается, абсолютизируя *corps social* как таковой, взятый

**5** Насколько субкультуры стремятся повысить важность производимых ими ценностей, выбрасывая их на широкий культурный рынок, настолько неправомерно говорить, как это делает Андреас Реквиц, о том, что мы живем в «обществе сингулярностей» (Reckwitz A. *Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne*. Berlin: Suhrkamp, 2017). Трактовка, данная Реквицем нашей социореальности, — это *contradictio in adiecto*: ассоциация одиночек (о которой когда-то мечтал Макс Штирнер) попросту невозможна.

**6** Схема Каролины Амлингер и Оливера Нахтвея, по которой в противоборство сейчас вступают «инклюзивный либерализм» и «эксклюзивный антилиберализм», поверхностно упрощает наш эпохальный политический контекст: Amlinger C., Nachtwey O. *Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus*. Berlin: Suhrkamp, 2025. S. 134 ff.

в его генезисе, в момент обретения им признаковости. Как ни парадоксально, идентитарное мировоззрение, долженствующее как будто ввергать разные страны в сугубый изоляционизм, на деле выказывает себя солидаризирующей свои этнические варианты силой (Ян-Вернер Мюллер говорит в этой связи о «новом правопопулистском интернационале»[7]). Вэнс и Маск поддерживают «Альтернативу для Германии», Трамп славословил Орбана. Совместная конфронтация всяческих идентитаристов с толерантным обществом, родившимся из революции 1968 года, берет верх (во всяком случае — пока) над национальной эгоманией — над трайбализмом, который им органически присущ. В России, пережившей с большим опозданием эпохальный слом, который произвели шестидесятники на Западе, объектом неприятия для идентитаризма стали времена ельцинского правления. Задержавшись с узакониванием терпимости, Россия опередила Запад в отвержении таковой и в утверждении не подлежащей оспариванию ценности единого социально-этатического тела. К разочарованию многих, приходится констатировать, что Россия не только потому европейская страна, что бывает готовой перенять у Запада плюралистическое свободомыслие, но и по той причине, что служит открытым обществам примером для их превращения в дружно замыкающиеся на себе образования.

**Россия не только потому европейская страна, что бывает готовой перенять у Запада плюралистическое свободомыслие, но и по той причине, что служит открытым обществам примером для их превращения в дружно замыкающиеся на себе образования.**

Зеркальное соотношение пролога и эпилога нашей эпохи объясняет, почему теперешняя антиэлитарная революция имеет сходство с прежней элитарной, несмотря на их полярность[8]. Одна повторяет другую с обратным знаком. Из исторического развития исчезла трансгрессивность. На излете диахроническая система пародирует, пытаясь перезапустить себя, свое возникновение (поступая по Марксовой формуле, согласно которой второе начало в истории отдает

**7** Müller J.-W. *Aber können sie regieren? Über populistische Regime und populistische Regierungskunst* // Häberle L. (Hrsg.). *Mainstream — freie Meinung — Populismus. Interdisziplinäre Beiträge zur Debattenkunst und zu Spaltungstendenzen der Gesellschaft*. Wiesbaden: Springer, 2025. S. 84.

**8** Ср. сопоставление новейших левого («Подемос» в Испании, СИРИЗА в Греции) и правого популизмов: Bächtiger A., Dryzek J.S. *Delibertive Democracy for Diabolic Times. Confronting Populism, Extremism, Denial, and Authoritarianism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2024. P. 89 ff.

фарсовостью). Феминистские атаки на многовековую патриархальную социокультуру пресуществляются в выдвижение женщин (Марин Ле Пен, Алис Вайдель, Джорджа Мелони) на роль предводительниц радикально консервативных партий. Пацифизм поколения, выступавшего против войн во Вьетнаме и Алжире и организовавшего в октябре 1967 года многотысячный марш на Пентагон, симулируется в миротворчестве Трампа, одновременно со своими третейскими инициативами отдающего приказ о бомбардировке ядерных объектов Ирана, зарящегося на Гренландию и проводящего армейскую операцию в Венесуэле. Подобно тому, как немецкая внепарламентская оппозиция когда-то объявила блокаду газетному концерну Акселя Шпрингера (1968), «Альтернатива для Германии» теперь уже справа, а не слева изобличает главные информационные каналы в стране в якобы сокрытии правды, клеймя их без разбора как «Lügenpresse». Партизанская война Фракции Красной армии, Красных бригад и прочей «городской герильи» с буржуазным обществом резонирует в терроре, целящем в национальные и конфессиональные меньшинства, вроде нападения Штефана Баллиета на еврейскую общину в Халле (2019) или стрельбы, устроенной австралийским экофашистом Брентоном Таррантом в мечети Аль-Нур и исламском центре Линвуд в Новой Зеландии (2019).

Режиссер Пол Томас Андерсен точно уловил в своем последнем фильме «Битва за битвой» («One Battle After Another», 2025) зеркально симметричное сходство революционного андерграунда образца 1960–1980-х и правого радикализма, вызывающего у зрителей ассоциации с трампизмом. Эти стороны совершают на экране одни и те же действия с противоположным ценностным наполнением. В параллель к тому, как революционерка Перфидия выдает на гибель своих товарищей, члены расистского тайного общества (оба лагеря иллегальны) травят газом кандидата в их союз, офицера Стивена Локджо, выяснив, что тот был отцом ребенка темнокожей Перфидии. Дочери офицера политической полиции и подпольщицы фильм не без иронии предназначает продолжить потушенную было революционную борьбу. Во многих сценах фильм Андерсена примешивает к авантюрному сюжету фарсовую комику, отвечающую тому, что и впрямь разыгрывается на современной исторической сцене.

И поскольку дизраптивный популизм оказывается не чем-то небывалым, а пусть и отрицательным, но все же двойником революционности, приведшей к становлению нынешнего этапа социокультурной истории, то и переход власти от истеблишмента к его противникам не линеен, не окончателен, поддается реверсу. Общество кружит в челночной динамике. В состязании

с Трампом Байден вернул демократам господствующую позицию (2020), которую они на следующих президентских выборах (2024) вновь потеряли; антиисламистская Партия свободы Герта Вилдерса в Нидерландах добилась большинства в парламенте (2023), но затем уступила победу социально-либеральной партии (2025). В той мере, в какой интересы обновителей общественного порядка сосредоточиваются не на идеях, завоевывающих будущее, а на народном теле и его родословной, социокультура делается неспособной к выработке проектов, которые расположились бы за рубежом обоих полюсов испытываемого ею напряжения. Она стопорит свое историческое продвижение вперед в ментальном тупике, в бесперспективности, застревает в разломе на непримиримые фракции, погрязает в «холодной» гражданской войне.

**Политическое мышление наших дней не озабочено импликативной логикой — выводом следствий из своих посылок. Оно догматично, страдает упростительством, коль скоро не прослеживает разных опций, вытекающих из какого-либо своего намерения, и, соответственно, не углубляется в его обоснование.**

Это расщепление социума особенно заметно в США, но та же самая схизма определяет политическую ситуацию в Германии, где ее восточные земли, отдающие предпочтение антисистемным партиям, противостоят западным, или, скажем, в Польше, переживающей двоевластие несовместимых друг с другом президента Кароля Навроцкого, ставленника популистской партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», и либерального премьер-министра Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета. «Катастрофа публичной и политической коммуникации»[9] заключает каждую из сторон ставшего невозможным диалога в собственной нише, из которой «здесь и сейчас» видится куда более релевантным, единственно значимым, саморазумеющимся, нуждающимся в отстаивании любой ценой, чем «там и потом». Иначе говоря, политическое мышление наших дней (вне зависимости от того, левое оно или правое) не озабочено импликативной логикой — выводом следствий из своих посылок. Оно догматично, страдает упростительством (самый яркий пример такового — примитивизм публичных речей Трампа), коль скоро не прослеживает

**9** Ibid. P. 3.

разных опций, вытекающих из какого-либо своего намерения, и, соответственно, не углубляется в его обоснование ради доказательства самому себе собственной истинности. Если либеральное политическое сознание по преимуществу лишь реагирует на совершающиеся в социореальности сдвиги, утратив волю к спонтанной предприимчивости, довольствуясь тем, что охраняет *status quo*, то антилиберализм ставит решимость к действию над *ratio* (не задумываясь, скажем, об экономическом ущербе, который принес бы Франции или Германии их выход из Европейского союза).

Консервативная революция, будучи выпадением из истории, гасит разум, отказываясь считаться с любыми не ею самой насаждаемыми изменениями в мире: игнорируя накопление парниковых газов в атмосфере Земли, восставая против профилактических мер во время пандемии, не признавая за неотменяемый факт распада советской империи или, на худой конец, осуждая смену индивидами пола. Мысль без обратной связи парализует самосознание, не контролирует себя. Акт мышления истинен потому уже, что он состоялся, и поэтому вправе придавать действительности любой образ, быть «постфактичным» (и перекликаться с электронным виртуальным миром, с «метаверсумом», где все возможно). Не соглашаясь, с одной стороны, с бросающимися в глаза сдвигами в окружающей нас обстановке, идентитаризм, с другой стороны, активно изменяет действительность в собственном воображении. Ложь есть сотворение истории, которой нет. Угнетение разума влечет за собой как подъем веры — не только традиционно религиозной, но и вырождающейся в суеверие в теориях заговора, приписываемого элитам, — так и иррационально-хаотические вспышки разрушительной коллективной истерии вроде штурма Капитолия (6 января 2021 года) или мятежа, затеянного частной военной компанией «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным (23–24 июня 2023 года). Деструктивность тем неудержимей, чем более креативность запустевает из-за недоступности будущего. Мы угодили во времена, забывающие интеллектуализм.

Частое в политологии отождествление нелиберальной демократии с фашизмом 1920–1930-х[10], еще одним продуктом консервативной революции, не вполне корректно. В то время как фашизм был тотальной мобилизацией всего общества, подавляющей в нем альтернативность в принципе, современная социореальность дуальна, упраздняя при этом обмен между своими подсистемами. Они составляют некий двуликий комплекс с омертвевшим внутренним метаболизмом.

**10** См. в первую очередь: Amlinger C., Nachtwey O. *Op. cit.* S. 239 ff.

Партнерский обмен перерождается в экскоммуникацию чужеродного. *Cancel culture* практикуется в равной мере и в том и в другом блоках комплекса, выливаясь то в преследование политической некорректности расового или гендерного толка (*woke*), то в предъявляемые респектабельной журналистике обвинения в распространении *fake news*, чем скандально известны Трамп и его администрация, не терпящие никакой критики в свой адрес. Разъединенная на два непримиримых стана наша социальность отличается от фашистской также тем, что не допускает введения чрезвычайного положения, приостанавливающего действие закона и тем самым — скажу я в добавку к децизионистским выкладкам Карла Шмитта — распределяющего право так, что оно, переходя к лицу, отдающему особые распоряжения, отбирается у общества, нивелирует всех его членов (а не выделяет из их числа нарушителей общественного спокойствия[11]). Номос остается в наши дни в силе, но тем не менее подгоняется под нужды авторитарной власти путем обходных маневров — за счет ужесточения закона, манипулирования правосудием, наращивания запретительных мероприятий или управления страной с помощью (допускаемых конституцией) президентских указов, как это делает Трамп. Гонения на врагов президента Соединенных Штатов — как, например, на его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона — проводятся не посредством прямого насилия, а с использованием судебной инстанции.

***

Подрывающий ныне социальную стабильность популизм имеет глубокие корни в социокультурной истории[12]. Заметно, что народопоклонство усиливается под занавес исторических периодов. Не буду далеко ходить за примерами и ограничусь одними русскими. В концовке романтизма фетишизация народа вызвала к жизни как пресловутую формулу государственника Сергея Уварова, требовавшего, чтобы образование в стране покоилось на «духе православия, самодержавия и народности» (1831), так и неофициальное учение первых славянофилов, которое отозвалось в сформулированной Алексеем Хомяковым («Церковь одна», 1846)

**11** Ср. понятие «зоны неопределенности», создаваемой в правопорядке чрезвычайным положением: Agamben G. *Ausnahmezustand (Homo sacer II.1)*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S. 32 ff.

**12** К истории популистских политических движений ср.: Kenny P.D. *Why Populism? Political Strategy from Ancient Greece to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023; Möller K. *Volk und Elite. Eine Gesellschaftstheorie des Populismus*. Berlin: Suhrkamp, 2024. S. 113 ff.

идее «соборности» (мистически-храмового национального тела). Иван Киреевский противопоставил «западному самосознанию», которое сеет разнобой мнений, русскую «семейную цельность» — всегдашнюю, сохраняющуюся в «крестьянском быту» («О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», 1852)[13]. Приближение к завершению последовавшей за романтизмом позитивистско-реалистической эпохи дало в 1870-х ставшее поветрием хождение в народ революционно настроенной молодежи, которая вынашивала надежды на то, что ей удастся поднять крестьян на бунт против царской власти. Вступление в заключительную фазу развития символизма ознаменовалось — среди прочих проявлений демофилии (скажем, у Александра Блока и других деятелей культуры, сочувствовавших эсерам) — публикацией статьи Вячеслава Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (1907), предписывавшей художнику исполнять «заказ» народных масс. Показательно, что в этом — зрело символистском — социокультурном контексте бывший активист «Земли и воли», проповедовавшей хождение в народ, Лев Тихомиров вернулся к своим прежним убеждениям, придав им обратное значение: в труде «Монархическая государственность» (1905) он заступался за самодержавие, проникнутое «религиозной идеей», усматривая в нем прямое «представительство» народных чаяний и веры, не опосредованное «узурпирующей» верховную власть бюрократией. Чем более истрачивается творческий потенциал диахронической системы, тем охотнее она — в жажде выжить — клянется в верности носителю неувядаемых традиций — демосу.

Популизм наших дней — все тот же симптом убывания эпохальной энергии, что и раньше. Но было бы наивно думать, что за современный оборот событий несет ответственность лишь интеллектуальный авангард общества — тот самый, который в прошлом учреждал культ народа. Рост популизма производен не только от воздействия на публику пропаганды, курсирующей в социальных сетях и прочих средствах массовой информации. Трамп нанес поражение Хиллари Клинтон, вложив в предвыборную компанию 322 миллиона долларов — куда меньше, чем его неудачливая соперница, потратившая 565 миллионов. Сама демократия идет навстречу тому, что принято теперь называть «делиберализацией». Каков состав электората, предпочитающего автократию и взрывное переустройство общества элитам и социальной рутине? Истеблишментом возмущен не тот народ, что являет собой хранителя традиционных ценностей, а тот, что был от-

**13** Киреевский И.В. *Критика и эстетика* / Под ред. Ю.В. Манна. М.: Искусство, 1979. С. 284.

лучен от них. Радикализм справа питается обидой, которой терзаются жертвы элитарной революции — большинство, вынужденное в течение последних пятидесяти лет идти шаг за шагом на уступки меньшинствам. Трамп и иже с ним становятся кумирами для тех, кто потерял свои выгодные позиции, кто принадлежит к извека претендовавшей на предводительство в истории белой расе, к преобладающим в государстве этническим группам, к населению былых имперских центров, к трудовому классу производителей национального достояния[14].

Если кому угодно дается право быть приобщенным к привилегиям по ходу универсализации элит, то нет ничего удивительного в том, что некогда отсталый Китай превращается в сверхдержаву, колонии обретают независимость, производство престижных товаров рассредоточивается по всей планете в результате глобализации экономики, а благополучные страны наводняются мигрантами из зон бедности и бедствий. Оборотная сторона этих процессов — ощущение неполноценности, завладевающее бывшими хозяевами жизни. Несколько странным в таком ряду кажется на первый взгляд тот факт, что замешанному в сексуальные скандалы Трампу отдали свои голоса многие американские женщины из среднего класса. Но ведь и они оказались в проигрыше вследствие побед феминизма. Вместе с подрывом патриархальной социокультуры они лишились того семейно-домашнего авторитета, который предоставлялся им правящим в обществе «сильным полом».

Важными катализаторами бунта против элит были финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса, вспыхнувшая в 2020-м. Сложившееся в ответ на финансовые неурядицы левое протестное движение «Occupy Wall Street» (2011) показало своим антиглобализмом пример всем, кто пострадал от осуществленного капиталом демонтажа стеснявшего его государственного регулирования (более всего проиграли те, кто потерял рабочие места при перемещении индустрии в страны с дешевым трудом, а также коллективы малых и средних предприятий, в том числе аграрных, попавших в условия более масштабной, чем ранее, конкуренции). Пандемия, стоившая жизни более чем семи миллионам человек[15], вызвала всеобщий страх. Породивший подавленность и осторожность у одних, у других этот страх проективно (контрапозиционно)

**14** Ср. определение популизма как «демократии ресентимента»: Bafoil F. *The Political Psychology of Populism. Trump, Putin, and the Roots of Humiliation*. Cham: Palgrave Macmillan, 2025. P. 123 ff. Вообще говоря, ресентимент — настроение не тех, кто просто пребывает в состоянии нехватки, а тех, кто уверен, что испытывает ее незаслуженно.

**15** См.: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths.

переложился в агрессию, направленную против чрезвычайных мер, с помощью которых правительства разных стран старались взять под контроль распространение инфекции. Вывернувшись наизнанку, страх, внушаемый отприродной катастрофой, был компенсирован тем, что стал негодующим осуждением органов власти, старавшихся сократить размеры пагубы. Именно в этот исторический момент атака на элиты, бывшая до того нападкой на финансовых воротил, преобразовалась в недовольство самим элитарным обществом, директивно распоряжающимся поведением граждан.

**В жажде безальтернативности нелиберальная демократия подрывает ту разность, что обеспечивает трансцендирование общества. Правый протест тормозит историю.**

И левые и правые антиглобалисты были одинаково враждебно настроены против власти, получившей слишком расширившуюся свободу своего отправления. Но для левых добытое авантюрным путем могущество финансового сектора явилось объектом отрицания, учиняемого ради достижения будущего (которое рисовалось как избавление общества от становящейся все более и более тягостной долговой кабалы, а его членов — от дани, выплачиваемой ими чувству первородного греха[16]). Правые же стремились восстановить отнятые у них сильные позиции, тоскуя по прошлому, надеясь отпрянуть в генезис, исповедуя идентитаризм. Ярость оглядывающихся на минувшее масс, которая поднялась во время пандемии, выражалась в критике элит (политических, бюрократических, информационных, научных), но, по существу дела, обрушивалась на общество в целом как на систему, предрасположенную к развитию, удаляющуюся от своих отправных пунктов. Конструктивное начало в гневе тех, кому хотелось вернуть себе место в жизни, занятое другими, было регрессивным и, следовательно, не умножающим альтернативы (каковые суть *sine qua non* либерализма), а устраняющим их в абсолютизации того, что уже было. В жажде безальтернативности нелиберальная демократия подрывает ту разность, что обеспечивает трансцендирование общества, будучи имманентной ему как решающему в своем устойчивом бытовании сразу множество дифференцированных задач. Попросту говоря, правый протест тормозит историю.

**16** Graeber D. *Debt. The First 5000 Years*. New York: Melville House Publishing, 2011.

* * *

Чтобы глубже разобраться в нашей современности, мне придется сделать отступление в область диахронической социологии. Выстраивание элит, привносящее в скоординированную полифункциональность общества субординативность, претерпевает изменения по мере социокультурного развития. В архаическом социуме элитарность персонифицирует *Big Man* — описанный Маршаллом Салинсом на полинезийском этнографическом материале глава клана, обладающий нездешней «сакральной силой (мана)» и имеющий поэтому не только распределительно-организаторскую власть, но и «церемониальный престиж» в проведении ритуальных действий[17]. В шаманских обществах *Big Man*, путешествующий в запредельность, в верхний и нижний миры, обретает свои сверхъестественные способности как избранник по высшей воле — в результате призыва на шаманское служение[18]. Передвижка от мифоритуальной социокультуры к исторической формирует статусное общество, элита которого состоит либо из наследственного нобилитета, либо из тех лиц, чье ранговое достоинство определяется принадлежностью к сакральной институции — церкви. В обоих вариантах статусная верхушка общества обеспечивает ему стабильность вопреки исторической изменчивости, так или иначе сохраняя прошлое (родовое, институциональное) в настоящем.

Магический дар, которым отличался *Big Man*, в значительной степени теряет свою значимость в истории, переносящей нас в инобытие на деле, фактически и, соответственно, делающей элиту из чуда явлением сего мира, наличествующим в нем по традиции: привилегированность не зависит более от персональных качеств ее владельца, а доставляется ему семьей и социальным учреждением. Заключительный этап этих трансформаций зачинается великими революциями (сперва религиозными), в которых Новейшее время оставляет позади себя Новое. Социально-политические революции перемещают наделение общества прочностью из прошлого в грядущее, каковое предстает перед их идеологами в виде нескончаемого воспроизведения одного и того же (благого) состояния коллективной жизни (то есть в неоритуальном обличье). В наступающем

**17** Sahlins M.D. *Social Stratification in Polynesia*. Seattle, 1958. P. 9.

**18** В поисках архаических обществ, свободных от рангов и иерархий, Дэвид Гребер и Дэвид Венгроу оспорили универсальную значимость наблюдений Маршалла Салинса, однако их работа кишит малодостоверными спекуляциями: Graeber D., Wengrow D. *The Dawn of Everything. A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021. Эта монография пересаживает на научную почву чрезвычайно распространенный в постмодернистской художественной словесности жанр альтернативной истории и переносит на далекое человеческое прошлое анархистскую идеологию своих авторов (такое же транспонирование когда-то предпринимал и Петр Кропоткин).

времени социореальность взойдет на свою высшую ступень, на которой избавится от иного в себе, от внутренней разности. Революционный напор крушит статусный строй — упраздняет преимущества, которыми располагала аристократия, и ставит под удар клир (отделяя от государства церковь, авторитет которой сокращается, раз не гарантируется скрепляющей все общество центральной светской властью). Статусная социальность сменяется ролевой — меритократией, ценящей превыше всего эффективность в исполнении индивидами их общественно релевантных заданий, что отвечает тем ожиданиям, согласно которым сосуществованию людей надлежит стать в неизбежно приближающемся будущем полностью оптимизированным. Исторически преодолеваемые формы конституирования элит не исчезают вовсе из последующего бытования общества. *Big Man* не только архаичен. В харизматиках нуждается и историзированная социальность, особенно когда она впадает в кризисы (Томас Карлейль неспроста изучал подобные фигуры в трактате «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1840), испытывая вместе с тем исследовательский интерес к французской революции). Меритократия ничтожит аристократию, но на место старого нобилитета в моменты консервативных революций приходит новый — скажем, в образе сталинской номенклатуры.

Мишень той деструктивной энергии, которая захлестывает сейчас мир, — историзация общества, обещающая ему завтрашнее преуспевание, если сегодня его члены будут более достижительными. Дело не в том или, по меньшей мере, не только в том, что меритократия более не добивается успеха, сдерживаемая мелочным надзором чиновничьего аппарата и ростом устанавливаемых регламентаций, чем пробуждается «коллективное чувство блокированной жизни», как пишут Каролина Амлинген и Оливер Нахтвей[19]. Сопротивление существующей системе справа не имеет в виду открыть ее в будущее — а напротив, метит в то устройство общества, которое дало после молодежной революции, задавшей специфику нашей эпохи, возможность извлечь выгоду из меритократии любым меньшинствам. Оспаривается истеблишмент, допускающий включение в общество, которое повышает свою производительность, даже полностью обездоленных мигрантов. Лишенные идейности протестные массы антагонистичны относительно своего извне явившегося подобия — сходным с ними образом себе довлеющего коллективного тела пришельцев. Одна часть общества, понизившая свой ранг, идет против другой, расположенной на самом социальном дне, но имеющей в условиях

**19** Amlinger C., Nachtwey O. *Op. cit*. S. 16 ff.

меритократии шанс улучшить свое положение, — против переселенцев и беженцев. Для первого из двух контингентов нет иной развязки этого конфликта, кроме придания статусного величия коренному народу по контрасту с чужаками, каковых надлежит изъять из социального обихода, репатриировать. В норме элитарность вводит в социальное бытование людей ценностное разграничение. Оно стирается, когда элитарным мыслится какой-либо социум во всем его объеме. Такой социум лишь мнимо элитарен, он плод воображения идентитаристов. В пару к этой симулятивной элитарности вождем, который обязывается реализовать идентитарные расчеты демоса, оказывается отнюдь не преемник Демиурга, как в архаике, а его отрицательная тень — трикстер, финансовый жонглер Трамп, то и дело отменяющий на президентском посту собственные политические поползновения.

Ненависть к элитам порождается сегодня тягой к совсем особой справедливости — такой, которая не уравнивает обездоленных и слабых с пребывающими в достатке и имущими силу, а наоборот: которая предполагает формирование однородного общества за счет выбрасывания из него малообеспеченных меньшинств.

Постмарксистские теории справедливости, каких бы способов ее достижения они ни намечали, солидарны в одном: заполучить ее можно оперативным путем за счет удаления из социального уклада вопиющего неравноправия. К примеру, Джон Ролз предлагал осуществить это с помощью такого общественного договора, который предоставляет всем действующим на социальной сцене лицам одинаковые стартовые позиции. Первенство лучших в вытекающей отсюда

Ненависть к элитам порождается сегодня тягой к совсем особой справедливости — такой, которая предполагает формирование однородного общества за счет выбрасывания из него малообеспеченных меньшинств.

конкурентной борьбе идет на пользу обществу в целом[20]. Возражавший на спортивно-меритократическую доктрину Ролза, Поль Рикёр писал о том, что взаимопризнания проигравших и выигравших в этой борьбе, окончательно устраняющего интерперсональную дисгармонию, нельзя добиться без арбитра. Справедливо, по Рикёру, общество, которое принимает

**20** Rawls J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

истину, вещаемую правосудием[21]. В пику Рикёру Агамбен набрасывает модель эгалитарного общества, в котором отношения между индивидами налаживаются вовсе без посредника (под ним подразумевается прежде всего государство). Этот порядок возникнет, если все единичности в социальном мире будут взаимозамещаемыми, так что общее и индивидное сольются в неразличимости. Единичное во множественном числе не что иное, как дружеская среда, ближайшая референтная группа, с которой идентифицирует себя отдельная личность. Эгалитарной у Агамбена становится — в духе анархизма 1960-х — социореальность, подражающая избранному конфиденциальному кругу[22]. По мнению же Тома Пикетти и Майкла Сэндела, справедливость восторжествует тогда, когда общество подвергнется декоммодификации — отторжению от товарного рынка, которое сделает доступ к самым насущным для поддержания жизнедеятельности благам и услугам (в первую очередь к образованию и медицине), независимым от денежного достатка[23].

Все эти теории не выдерживают критики, потому что социальность есть для нас *modus vivendi*: пребывание в бытии можно изменить посредством той или иной политики, но нельзя перевести в свою противоположность, каковую являет собой *modus operandi*. Эквивалентность исходных позиций не более чем иллюзия в историзированном социуме, из которого неустранимы отставание одних и забегание вперед других. Судебная инстанция не в состоянии водворить в обществе свободу, равенство и братство, будучи занятой как раз отлучением от этих ценностей тех, кто нарушил закон. Превращение самых разных обществ в большую дружескую компанию, в которой свое и чужое легко меняются местами, предполагает пугающе-апокалиптическое снятие в глобальном масштабе этнокультурных, религиозных и прочих расхождений между локальными коллективами, вырождение мировой истории, накапливавшей различия, в гиблую энтропию. Проповедуемое Пикетти и Сэнделом перераспределение доходов от богачей для обеспечения бесплатных обучения и медицины покоится на отправной несправедливости — экспроприации собственности, произволе, который социум чинит применительно к индивидам. Там, где прекращается обмен, регулируемый рынком, вступает в действие принуждение к даянию — при том, что эксплуатация остается самой собой вне зависимости от того, кто ей подвергается — пролетариат или капиталисты.

**21** Ricœur P. *Le Juste*. Paris: Éditions Esprit, 1995.
**22** Агамбен Д. *Грядущее сообщество*. М.: Три квадрата, 2008. *Philia* была социальным идеалом и Жака Деррида: Derrida J. *Politiques de l'amitié*. Paris: Éditions Galilée, 1994.
**23** Piketty Th., Sandel M.J. *Equality. What It Means and Why It Matters*. Cambridge; Hoboken: Polity Press, 2025.

Что до бытия, в котором творится наш социальный быт (*Dasein*), то оно, по суждению досократика Анаксимандра (611–546 до нашей эры), есть самообесправливание. Понятое Анаксимандром как апейрон (начало всего, не имеющее пределов) бытие несравнимо превосходит любое бытующее. Этот примат отражается в том, что всякая частность в бытии вовлекается в борьбу с другим его элементом, дабы стать превыше его, и тем самым соучаствует в распространении общего бесправия (не из этой ли посылки Анаксимандра ведет происхождение Гоббсово представление о естественном состоянии, в котором разыгрывается война всех против всех?). Мартин Хайдеггер реинтерпретировал бытие, бывшее источником неравенств у Анаксимандра. Оно устанавливает, по Хайдеггеру, абсолютную справедливость, будучи «бытием-к-смерти», ликвидируя разницу бытующих самым радикальным образом — уничтожая их. Может показаться, что, погружаясь в метафизику (без которой не обходится онтология, как бы ей этого ни хотелось), мы удаляемся в сторону от того, что Огюст Конт именовал «социальной физикой». Но это не так. Философия Хайдеггера («Бытие и время», 1927) отвечает социальному опыту, когда тот становится революционным. Сен-Жюст, один из зачинщиков массовых казней, начавшихся во Франции в 1793 году, обосновывал их необходимость словами «Никто не бывает абсолютно невинным» («Nul n'est absolutment innocent»). Припоминание о том же ветхозаветном первородном грехе проглядывает и в сталинском Большом терроре, проводившемся по разнарядке и безразличном к выбору своих жертв. Революции (попирают ли они «старый режим» или — в консервативной версии — самих себя) подчиняют социальность справедливости антропологического свойства: как бы несходны ни были люди по положению в общественной иерархии, все они смертны. Танатос — великий исправитель дискриминации и притеснения. Впервые танатологическая эгалитарность была реализована в бескровно-эскапистской революции — покинувшими мир сей (умершими для него) подвижниками в общежительных монастырях (киновиях), где практиковались отказ иноков от личного имущества и их совместное тружение.

Бытие — самое абстрактное из наших представлений, никак непроверяемое объективно, — не могло быть не чем иным, кроме как извлеченным изнутри нашей субъективности. Мысль о безраздельном господстве бытия над всем, что только ни отыскивается в нем, была проективной — она преломляла в себе доминирование общества над индивидами. Неравенство, в котором *sensus communis* одолевает *sensus privatus*, никак не изгоняемо из социореальности ее же средствами, оно конституирует ее бытие-в-мире и опрокидывается ею — ради

самоувековечивания — на всемирное бытие. Свой перевес над особью общество защищает, узурпируя родовое в человеке так, что каждый *homo sapiens* обязывается вести свое существование как *homo socialis*. Социальное подавляет антропологическое в его персональном исполнении. Родовое не может проявить себя иначе, как только будучи редуцированным до социально-видового. Не признавая первенства всечеловеческого, *homo socialis* создает самовластные общества, овнутривающие свою исключительность, правящие не одними лишь индивидами, но и возносящиеся над самими собой.

Эта возгонка социальной власти достигается благодаря формированию общества-в-обществе, становлению коллективного субъекта, распоряжающегося остальным коллективом[24]. Как *Big Man* властвующий субъект единичен. Но в своей сверхъестественности *Big Man* выходит за грань индивидного: он сопричастен бессмертным предкам или — в роли шамана — духам-помощникам. Возникающие из социального самодовольства элиты псевдоантропологичны в том плане, что захватывают в обществе командные высоты, на которых по праву должен был бы обосноваться человек как таковой, а отнюдь не обладатель привилегий. *Sensus universalis* (тот, что присущ каждому из мыслящих существ) может в этих обстоятельствах прорваться в социальный порядок, только революционно отменяя его в целокупности и в своем разрушительном натиске нивелируя его носителей перед лицом смерти. Знаменательно, что идея бытия, занявшая философское воображение досократиков, явилась на свет тогда, когда общество, до того мифоритуальное, стало проникаться историзмом. Тот факт, что *Dasein* может менять свои формы, потребовал — дабы общество обрело неколебимую надежность — абстрагирования от них, что возвысило социального человека, позиционированного в непосредственно наблюдаемом быту, до действующего в необозримом и вечном бытии. В той мере, в какой мы социальны и историчны, мы мыслим онтологически и не можем полагать иначе.

***

Теперь я могу вернуться к тому желанию справедливости, которое намеревается низложить элиты, одновременно отчисляя из общества их антипода — мигрантов. Если элиты

**24** Образование элит сопрягает общество с прошлым (постоянно возрождаемым династической знатью и ее имитациями, к примеру, семейным бизнесом) и с будущим (которое надлежит предвидеть правящему слою) — с тем, чего уже или еще нет, со всевременным и всепространственным бытием. См. подробней: Смирнов И.П. *Обмен с потусторонним, или Об элитах* // Он же. *Быт и инобытие*. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 167–199; здесь же см. критический обзор основных учений об элитах.

воплощают собой квинтэссенцию социального, то чужаки — вторжение в общество того, что ему противоположно, — обнаженно человеческого, социально беспризнакового. Установка актуальных антиэлитарных движений глубоко противоречива, опровергает саму себя: устранению диспропорции между верхами и низами общества должен, с точки зрения идентитаристов, аккомпанировать отказ от признания равенства по нашей одинаковой принадлежности к роду *homo*. Идентитарный эгалитаризм воинственно не гуманен. Вместе с тем он не онтологичен, коль скоро выказывает недоверие элитам. Бытие, преобладающее над бытующими, теряет для нас значимость, раз общество перестает быть властью над самим собой, инкорпорированной лицами, которые находятся в преимущественном — по сравнению с массой — положении. Популистская консервативная революция неполноценна, дегенеративна. Она не позволяет обществу открыться в сторону всечеловеческой справедливости (которая не только террористична, но и конструктивна в качестве утопии) и подрывает его бытийную основу, им же и заложенную в момент его перехода от архаики к существованию в «горячей» истории. Идентитаризм — следовательно, социальность-в-себе — бессущностный (поскольку безбытийный) феномен, общество, довольствующееся констатацией своего происхождения — и потому последнее из того, чем общество в принципе может быть. Перерождения социальности подобрались к своему концу, в котором остаточное общество оказывается попросту самотождественным и, значит, неподвижным, неживым. Оно старается компенсировать свое застывание во времени за счет пространственной экспансии (впрочем, малоэффективной, как, скажем, в случае попыток Трампа расширить территорию Соединенных Штатов).

**Установка актуальных антиэлитарных движений глубоко противоречива: устранению диспропорции между верхами и низами общества должен аккомпанировать отказ от признания равенства по нашей одинаковой принадлежности к роду *homo*.**

Не дающееся социальной инженерии выравнивание разноуровневых позиций в обществе все же становится относительно досягаемым, если в коллективную жизнь вклиниваются индивидуальные инициативы благотворительного свойства. Раннее общество обязывало тех, кто находился на вершине социальной иерархии и таким образом лично отпадал от

остальных соплеменников, делиться избытком собственности с нижестоящими. В «Печальных тропиках» (1955) Клод Леви-Стросс рассказывает, как подарки, получаемые вождем индейцев намбиквара, быстро переходят в руки его подданных. По мере того, как *Big Man* отдавал свое место наследственным и церковным элитам, дележ благами превращался из заведенного в обществе обычая в персональный почин. Чем шире объем элит, тем меньше возможностей у индивидуального быть структурно вписанным в *Dasein* и тем более оно вынуждено обнаруживать себя как нравственное решение, питаемое сочувствием к угнетенным и бедствующим. Государства всеобщего благосостояния, особенно прочно утвердившиеся после Второй мировой войны, не более чем законодательно перелицовывают филантропический социализм Анри Сен-Симона (только в союзе с которым Адаму Смиту и удалось победить Карла Маркса). Эти государства, покровительствующие слабым, не карают толстосумов, экспроприируя их богатство, как того желают Пикетти и Сэндел, а равно облагают налогом бóльшую часть своих граждан пропорционально их доходам с тем, чтобы перераспределить денежные средства ради искоренения полной нищеты и организации удовлетворительного медицинского и образовательного обеспечения всего населения. Такая относительная справедливость зиждется на усвоении социумом той морали, которая руководила персональной помощью, оказываемой сильными слабым.

Если равенство в обществе исчерпывается родословной его членов, то оно утрачивает потребность сближать достаток и недостаток — не нуждается более вовсе в том, чтобы быть благотворительным и моральным. Начиная с января 2025 года Соединенные Штаты последовательно замораживают или сокращают финансовую поддержку слаборазвитых стран. Голосующие за «Альтернативу для Германии» винят немецкое правительство в том, что оно тратит деньги налогоплательщиков на пособия для ищущих убежища. По существу дела, либерализм прививает античной демократии новозаветную мораль, отличающуюся от ветхозаветной (лишь оберегающей Другого — то есть на кантианский манер укрепляющей общежительство), тем, что предписывает самости уступку Другому, основывая эмпатию на сострадании по тому образцу, по которому христианин сопереживает страсти Христовы[25]. Либерализм терпим к чужому мнению в том смысле, что *претерпевает* некий урон в собственном, вечно жертвенен в компромиссах, которые заключает в изобилии. В этой уступчивости сквозит

**25** Макс Шелер считал даже, что страдание составляет сердцевину всякого сочувствия, коль скоро оно не акция, а реакция: SCHELER M. *Wesen und Formen der Sympathie* [1913, 1923]. Bonn: Bouvier, 1999. S. 78.

сразу и слабость, и та сила либерализма, которую он обретает благодаря культу самодисциплины. Делиберализация демократии лишает ее жертвенности, место которой захватывают национальный эгоизм и ксенофобия, лишь прикрывающиеся религиозностью. Справедливость сама по себе безжалостна: если все равны, то нет Другого — того, кто воздействует на нас эмоционально (в том числе и вызывая соболезнование), не будучи вполне открыт нашему разуму. Принудительное равенство исключает свободу индивида, каковую он отвоевывает себе в вольной самоотдаче. Добровольная трата себя есть предпосылка творчества и единственно данная нам в социуме форма свободы от него. Строго говоря, либеральные демократии, обреченные сейчас не более чем на выживание в тягостной обстановке, — не общества справедливости, а общества милосердия.